

В тюрьме

Сам Бродский в зале суда о всемирной славе не помышлял. Впоследствии он говорил, что вспомнил наставление дзен-буддизма: если хочешь отделаться от неприятной мысли, дай ей название и беспрестанно повторяй его. Самым частым словом, звучавшим в зале суда, было слово «бродский». Он сосредоточился на этом слове и всё, что с этим словом связывали говорившие, как бы перестало относиться к нему. Тем не менее он также вспоминал, что был тронут выступлениями свидетелей защиты: «Потому что они говорили какие-то позитивные вещи в мой адрес. А я, признаться, хороших вещей о себе в жизни своей не слышал»²²². Однако в целом воспоминание о суде, душевный опыт, с ним связанный, у Бродского решительно отличались от воспоминаний об этом событии тех, кто защищал и поддерживал поэта. Даже в том, чтобы просто прийти в набитый дружинниками и шпиками зал суда, «засветиться», было нечто героическое, не говоря уж о том, чтобы вступить в противоборство с системой – выступить на суде, собирать подписи под обращениями в защиту жертвы произвола²²³. Для самого же Бродского то, что происходило, было всего лишь отвратительно – не только произвол, но и та ложь, с которой неизбежно были связаны попытки защититься от произвола. Чудовищную неправду возвели на него Лернер и стоявшие за ним партийные чиновники и КГБ, но и защищаться от них можно было лишь не вполне искренними способами. Адвокат прекрасно сознавала, что сам по себе указ от 4 мая 1961 года

220 Платон. Сочинения. М.: Мысль, 1971. Т. 3 (1). С. 435.

221 Эткин 1977. С. 170.

222 Волков 1998. С. 76.

223 В истории диссидентского движения шестидесятых – семидесятых годов «дело Бродского» было первой большой (и выигранной!) битвой. Р. Д. Орлова знаменательно называет свой очерк об этом эпизоде «Поворотное дело». Бродский был в этом плане лишь предметом борьбы, а активными героями были Вигдорова и другие защитники поэта. Орлова пишет о Вигдоровой: «Она была обвиняемой, ее судили вместе с Бродским». И дальше: «Здесь судья Савельева в союзе с самыми темными силами судила каждого советского интеллигента. Потому запись суда нельзя читать без ужаса» (Эткин 1988. С. 93).

противоправен и противоречит даже советской конституции, но должна была строить защиту на том, что этот замечательный и справедливый указ неприменим к ее подзащитному. Трое опытных писателей, литературных переводчиков, в условиях свободного обмена мнений, вероятно, просто сказали бы, что нельзя судить человека, если он не ворует и не хулиганит, но не хочет работать ради штампа в паспорте, а хочет писать стихи. Вместо этого им приходилось доказывать, что несколько опубликованных переводов Бродского, в том числе и ничем не выдающиеся, просто литературно грамотные переводы кубинских и югославских поэтов – большой и тяжкий труд. Наконец, самому Бродскому, который на дух не переносил марксизма, знал цену советской власти и не покривил душой даже на приеме у секретаря райкома, пришлось выдать из себя: «Строительство коммунизма – это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...» На этом месте он был прерван судьей Савельевой: «Оставьте высокие фразы»²²⁴.

В данном случае Бродский, наверное, был даже рад окрику судьи. То, что для большинства его сверстников было ничего не значащей условностью, для него оказалось отвратительным лицемерием. От природы предельно искренний и склонный постоянно судить самого себя, он (или тот, отчужденный от него дзен-буддистскими упражнениями, «бродский») втягивался в тяжбу большой лжи с маленькими неправдами. Именно это он имел в виду, когда писал позднее об «ученье строить Закону глазки, / изображать немого» («Речь о пролитом молоке», 1967, КПЭ).

Кроме одной оборванной фразы, намекающей на то, что писание стихов есть участие в строительстве коммунизма, мы не знаем случаев, когда Бродский «строил Закону глазки», но, кажется, ему и того было достаточно. Он не любил воспоминаний о суде в марте 1964 года. Повышенное внимание журналистов к этому эпизоду биографии вызывало у него протест: он хотел, чтобы его воспринимали как поэта, а не как жертву режима.

Насколько мы знаем, на Пряжке Бродский стихов не писал, но писал в камере каждый день после ареста 13 февраля и до направления на психиатрическую экспертизу 18-го. Четыре маленьких стихотворения под общим названием «Инструкция заключенному»²²⁵ датированы днями с 14 по 17 февраля. Посвященное Ахматовой восьмистишие «В феврале далеко до весны...» написано 15 февраля (то есть в праздник Сретения по церковному календарю – день именин Ахматовой) и является картинкой природы (с аллегорическим намеком на облик пожилой поэтессы), но остальные короткие тексты основаны на непосредственных тюремных впечатлениях: холод в камере, резкий свет электрической лампочки, желание спать, хождение взад-вперед по замкнутому пространству. Неожиданно в конце четвертого стихотворения, «Перед прогулкой по камере», возникает эстетизированное мифологическое сравнение тех крайних условий человеческого существования, в которых находится автор, с одиннадцатым подвигом Геракла, путешествием на край ойкумены за золотыми яблоками. Тот же контраст унижительной физической несвободы и свободы воображения, замкнутого – в прямом смысле слова – тюремного пространства и ничем не ограниченного культурного пространства еще острее дан в двух восьмистишиях, написанных Бродским в собственный день рождения 24 мая 1965 года в камере предварительного заключения Коношского райотдела милиции. Его наказали несколькими днями заключения за опоздание из отпуска.

Ночь. Камера. Волчок
хуярит прямо мне в зрачок.
Прихлебывает чай дежурный.
И сам себе кажусь я урной,

224 Гордин 1989. С. 153.

225 В первой публикации, с присовокуплением еще 16 строк, написанных более года спустя в другой камере, название цикла ироничнее – «Камерная музыка».

куда судьба сгребает мусор,
куда плюется каждый мусор.

Колючей проволоки лира
маячит позади сортира.
Болото всасывает склон.
И часовой на фоне неба
вполне напоминает Феба.
Куда забрел ты, Аполлон!

(СНВВС)

В натуралистическом описании камеры и вида из тюремного окна на отхожее место, обнесенное колючей проволокой, используются обесцененная лексика и криминальный жаргон («блатная феня»), что резко оттеняет явление Феба-Аполлона в конце стихотворения. Автор с привычным вниманием к деталям рассматривает тюремную камеру и себя, заключенного в ней. Позиция автора – вне камеры, вообще «вне», то есть позиция абсолютной свободы. Нечто важное происходит в непритязательных тюремных набросках – зарождаются основы поэтической философии Бродского. Страдание принимается как условие человеческого существования, мир – таким, каков он есть. Соседство словечка «хуярить» и Феба-Аполлона лишено эпатажности, стилистические полюса естественно сходятся в тексте, который не судит жизнь и не сетует на нее, но ее запечатлевает. Знаменательна в тюремных стихах эмоциональная сдержанность, в особенности отсутствие обычного мотива тюремной лирики – жалобы, жалости к самому себе. Это принципиальный момент. Пятнадцать лет спустя Бродский начнет стихотворение, подводящее итог сорока годам своего земного пути, воспоминанием о тюремном опыте («Я входил вместо дикого зверя в клетку, / выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке...»), подчеркнет сознательное принятие страдания («Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя...») и волевой запрет на проявление душевной слабости («Позволял своим связкам все звуки, помимо воя...»).

В 1995 году в эссе «Писатель в тюрьме», написанном как предисловие к антологии произведений писателей-заключенных, Бродский подытожил свой тюремный опыт. «В сознании большинства населения тюрьма есть некое неизвестное и потому в чем-то родственна смерти, которая есть предел неизвестности и лишения свободы. Во всяком случае поначалу одиночку без особых колебаний можно уподобить гробу. Аллюзии из загробного мира в разговоре о тюрьмах – общее место на любом наречии, если такие разговоры не являются просто табу. Ибо с позиции обычной человеческой реальности тюрьма – действительно потусторонняя жизнь, структурированная так же замысловато и неумолимо, как любая богословская версия царства смерти и избыливающая главным образом оттенками серого»²²⁶. Это было последнее в его жизни эссе.

После вынесения приговора Бродский на месяц пропал для родных и друзей. Его отвезли в тюрьму «Кресты», затем этапировали в тюремном вагоне, «Стольпине», в Архангельск. На этапе произошла встреча, которая определила некоторую отчужденность Бродского от зарождавшегося диссидентского движения. Он рассказывал о ней так: «Это был, если хотите, некоторый ад на колесах: Федор Михайлович Достоевский или Данте. На оправку вас не выпускают, люди наверху мочатся, все это течет вниз. Дышать нечем. А публика – главным образом блатари. Люди уже не с первым сроком, не со вторым, не с третьим – а там с шестнадцатым. И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик – <...> мозолистые руки, борода. <...> Он в колхозе со скотного двора какой-то несчастный мешок зерна увел, ему дали шесть лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет. И никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек – ни в России, ни на Западе – на его защиту не подыметя. Никогда!

Просто потому, что никто и никогда о нем и не узнает! Это было еще до процесса Синявского и Даниэля. Но все-таки уже какое-то шевеление правозащитное начиналось. Но за этого несчастного старика никто бы слова не замолвил – ни Би-би-си, ни „Голос Америки“. Никто! <...> Все эти молодые люди – я их называл „борцовщиками“ – они знали, что делают, на что идут, чего ради. Может быть, действительно ради каких-то перемен. А может быть, ради того, чтобы думать про себя хорошо. Потому что у них всегда была какая-то аудитория, какие-то друзья, кореша в Москве. А у этого старика никакой аудитории нет. Может быть, у него есть его бабка, сыновья там. Но бабка и сыновья никогда ему не скажут: „Ты благородно поступил, украв мешок зерна с колхозного двора, потому что нам жрать нечего было“. И когда ты такое видишь, вся эта правозащитная лирика принимает несколько иной характер»²²⁷. И в самом деле, защитники Бродского в Советском Союзе и на Западе вряд ли с таким же рвением стали бы выручать его спутника, даже узнай они о его судьбе. Одним из лозунгов правозащитного движения было «Соблюдайте ваши собственные законы!», а кража мешка зерна – преступление по законам любой страны. Ахматова глубоко смотрела, когда в связи с отношением Бродского к собственной ссылке вспоминала Достоевского и «Записки из мертвого дома» (см. выше). Нравственная интуиция Бродского вела его на уровень более глубокий, чем требование политических прав. Не в том дело, что Бродский не хотел демократии и законности для своей страны, он их безусловно хотел и ненавидел советский строй, извративший эти понятия. Но в «Столыпине» не «правозащитники» встретились со стариком-колхозником, а он, Иосиф Бродский, и он остро ощутил несправедливость в неравенстве их положений, свою, если угодно, вину перед колхозником.

Суд над Бродским часто называли «кафкианским», имея в виду отсутствие правовой логики, абсурдность обвинений и кошмарную атмосферу. Но для Бродского (и это, как мне кажется, поняла только Ахматова) он был кафкианским и в другом смысле. Ведь «Процесс» Кафки не только о том, что человека могут судить и казнить непонятно за что, но и о том, что человек, не понимающий, за что его судят, тем не менее ощущает свою виновность. Это общечеловеческое чувство экзистенциальной вины, не обязательно связанное с иудеохристианским представлением о первородном грехе, всегда присутствовало в поэзии и вообще в интеллектуальной жизни Бродского. Не совсем удачно он называл это «своим кальвинизмом» – кальвинистская доктрина с ее беспощадным осуждением человеческой греховности тут ни при чем. Тем более что в этике и поэзии Бродского с темой виновности неразрывно связана тема прощения. Слова Ахматовой: «Ты не знаешь, что тебе простили...» – он пронес сквозь всю жизнь, как талисман²²⁸.